

Ирина Цыгальская

Египетские пирамиды

Повесть

Я очень хорошо помню, — сама с собой разговаривает Майя, — как все тут происходило. Еще до моего рождения длилось двадцать, а может быть, тридцать лет. Кажется, время тогда остановилось в какой-то определенной точке. Это мне тоже знакомо: жить сегодняшним, не оглядываясь назад, не делая усилий заглянуть в будущее.

Этим двум ведьмам в селении: Анне, прилетающей на метле, — позднее приезжающей на рейсовом автобусе, чтобы пожить несколько месяцев в году в своем заброшенном доме, — и Леонтина, постоянной жительнице, им тоже так казалось. Хотя и та и другая отлично знали, что годы летят. Теперь-то обе забыли даже про свою смешную ревность.

Ты, — мысленно обращается Майя к Леонтина, — сама сейчас хихикаешь над собой... Ну ладно, другой раз, может, и грустишь, вспоминая слова, которые в тебе звучали об Анне. Примерно такие: да как она, черт ее сюда носит, как смеет она сравнивать себя со мной, когда я... когда мне... обо мне... было вот это: «...лишь одной в целом свете...» Хотя и посвящалось какой-то гуцулке Ксене. «*Гуцулко Ксению...*» Я никак не могла понять, что такое «*гуцулко*», каждый раз думалось, что я ослышалась. Но нет, и однажды я спрашиваю: *Гуцулко* — это что? Фамилия Ксени? А ты надо мной смеешься.

Леонтина молчит. Может быть, всего пять минут, может, десять. Но время в ее воспоминаниях обретает другую протяженность. Есть у времени такое странное свойство: говорят, в последние секунды перед уходом в глазах человека проносится вся его жизнь.

Ну, у меня, — думает Леонтина, — за эти пять-десять минут не вся: один отрезок, тот, который хотелось бы выразить словами, — и для этой любопытной Анны, и для маленькой сороки Майи. Только я понимаю: это невозможно, кадры отрезка проносятся слишком быстро. Сперва ты встречаешь Дмитро в аллее, несколько раз. И Анна, и Майя тут, конечно, сразу же вообразили бы именно липовую аллею, как наша. Однако исследователи сосчитали уже, что таких аллей в стране очень много, больше трехсот, а то и полтысячи. Есть и дубовые, где-то — клены. Встречаются и хвойные. И вот, идет по аллее мне навстречу Дмитро. А зрение у меня — позавидуешь: я глаз не утомляю,

Ирина Цыгальская (Аузиня) — поэт, прозаик, переводчик латышской прозы и поэзии на русский язык, автор нескольких сборников рассказов, повестей и стихов, книги эссе и зарисовок, редактор «Рижского альманаха». Живет в Риге. Предыдущая публикация в «ДН» — 2017, № 3.

телевизоров еще нет, не говоря о компьютерах; а книги — когда? Ночью на сеновале? Со свечой? Чтобы все спалить? Без свечи? Но я же не кошка, чтобы видеть в темноте. Ха-ха, я, конечно, кошка, в том смысле, что ночью жду кота, но буквы-то не увижу, чтобы в ожидании читать книгу. Так что глаза у меня — как у ястреба. Схватывают в аллее фигуру Дмитро издалека; идет навстречу, приближается — да, это он. Я задыхаюсь от волнения, боюсь, он это заметит, а он тем временем уже совсем близко, здоровается, проходит мимо, скорее всего, как мне кажется, вовсе и не задумываясь о моем волнении. Как и я не замечаю — его... Или все начинается с концерта в Народном доме? Дмитро на сцене поет: «*Гуцулко Ксеню, я тебе на трембите лишь одной в целом свете расскажу про любовь...*» Может быть, и в нем в этот момент вспыхивает пламя? Дмитро видит меня в зале, я сижу во втором ряду, и при словах «*гуцулко Ксеню...*» глядит на меня пристально и особенно. Я никогда его не спрашивала, в другую встречу это случилось или сразу после концерта, когда он идет за мной следом в аллее, делая вид, что ему просто по пути, а сам все напевает про Ксеню. До того, что я, кажется, и впрямь преобразуюсь в эту Ксеню. Но заговорил он со мной спустя какое-то время. Спрашивает, как меня зовут. Я отвечаю, что не Ксения, он засмеялся, говорит — а для меня ты Ксения! Я тоже засмеялась — и сразу убежала домой, к своим бесконечным заботам. На следующий раз спрашиваю: а «*Гуцулко*» — это фамилия Ксени? В точности, как сейчас наша Майя... Дмитро опять смеется: нет! Гуцулы — это такая народность, в Западной Украине. Я — тоже гуцул. Ты, может быть, тоже? Брови такие черные, и темные глаза.

А что, — говорит себе Леонтина, — может быть, и мои предки были какие-нибудь закарпатские гуцулы? Это теперь вся деревня считает, что мои корни здесь, кто вспомнит, сто лет прошло... да ладно, может, и не сто: кто скажет, сколько прошло времени с тех пор как тут поселилась, а может быть и родилась, моя мама?

Что думает по этому поводу Анна, неизвестно.

— Если черт ее сюда носит, — бормочет Леонтина, — то он-то и должен знать, какие мысли в голове у этой чертовки и что хотели бы сказать ее невинные голубые глаза. С какого-то момента, — вспоминая, говорит себе Леонтина, — ты начинаешь догадываться, что эта ведьма-то, Анна — любопытная. Хлебом не корми, расскажи какой-нибудь случай. «А как ее звали? — передразниваешь ты Анну. — А красивая была? А дети были?» — Все, как у людей, — усмехаешься ты, не касаясь вороха реальных событий.

По правде говоря, — мысленно рассуждает Майя, — наша Анна так уж прямо вовсе и не спрашивает. Тем более, что, как потом выясняется, и ты, и Анна с Леонтиной — все трое — какие-то дальние родственницы. Муж сестры мужа ее матери... словом, какая-то вода на киселе, потомкам уже не разобраться. И ты поэтому, то есть по-родственному, и живешь летом у Анны и вместе с ней навещаешь Леонтину. Конечно, не только поэтому, стала бы ты тут разбираться с этой водой на киселе, очень надо. Но об этом — потом. Ты даже поняла однажды, какое у вас с Леонтиной родство, но опять забыла.

...Анна старается как-нибудь умирить свое любопытство, расспрашивает о селении осторожно, не касаясь судьбы самой Леонтины. И Леонтина до поры до времени молчит, что за Петра вышла замуж, приняв за любовь — сочувствие.

— Да я и сама не знаю, разве я могу знать? Я боялась, что Петер раскашляется на сеновале, рано или поздно так зайдется в кашле, что всех перебудит; и все выйдет наружу; так уж лучше замуж.

Легочных больных в этом крае хватает. Туманы, холодные ветры дышат влагой. А в трудные времена... — размышляет Леонтина, — ...хотя они и есть, и были всегда трудные. Вечная смена властей и режимов, то одна война, то другая. Когда люди берутся за оружие, пахать и сеять, скотину обрядать некому. На пороге маячит голод, еда плохая. Если вообще есть. Да-да, — повторяет себе Леонтина, — к тому же — только

подумать! — чертовка-то Анна, ха-ха, думает, я не знаю, — дневничок пишет. Впишет и тебя, голубушка, заключит в слова — и прихлопнет, как в западне. Ну и говоришь как-то Анне, сама посмеиваешься:

— Ну что это за дневник, если там нет ежедневных записей?

— Теперь, — отвечает Анна, подмигнув, — пусть наша с тобой дочка сестры матери мужа или как там еще, ну наша Майя, пишет! Мы-то — что? Болеем... Так что, еще и в дневнике про болезни? Не хочу! Ни говорить, ни писать!

* * *

«Только осень наступила,/ полюбил другую милый...»

— Не знаю, что за песня, — кривит душой Леонтина, отлично знает: это продолжение про Ксению; да и как могут забыться слова: *«Я тебе на трембите/ лишь одной в целом свете расскажу про любовь»*? Больше и правда ничто не хочет вспоминаться. — И не надо, — говорит Анне, — спасибо, что до осени было.

— Конечно, — будто бы мимоходом, не показать бы, что наострила уши, замечает Анна. — А что касается дневника, так я давным-давно не записываю ежедневные события; да и не события они, а течение жизни. Я, можно сказать, годами старалась фиксировать что-то, на мой взгляд, важное. Годами убеждение, что так надо, только росло. Но теперь задумываюсь, говорю себе: нет, Анна! Как раз наоборот: не жди событий, пиши обыкновенные подробности. Потому что иначе в памяти образуются провалы — белые пятна.

— Хорошо еще, — ворчит Леонтина, — что не черные.

Биение собственного сердца, дыхание больного ребенка — проклятый бронхит! Тиканье часов, и в такт ему — дыхание умирающих: любимых и милых. Непрерывное и чарующее. Вот заглушила его поздневечерняя гроза, над самым твоим домом. Ливень! Гром тише, тише, уже далеко, а ливень вернулся, да еще какой! После него — ночное видение: всемирный потоп; вот сейчас он унесет своим бурным потоком красную машинку Майи... Стоит ведь в твоём дворе?

— Стоит: недавно куплена.

И машина уплывет, ее унесет, как ту красненькую, которой Майя когда-то играла...

— А скажи мне — зачем ты сюда прилетаешь? Что тебе в городе не сидится? Или там часы не тикают?

«Про Майю — понятно, — шепчет уже про себя Леонтина, — Майе тоже — *“...на трембите/ лишь одной в целом свете...”*»

Анна молчит, не отвечает ни сразу, ни на второй день, а на третий или четвертый усмехается:

— По саду ходить люблю. Ранним утром.

— Утром холодно.

— Пускай. А еще — весы.

— Какие весы?

— Девочкой меня такие бы осчастливили. Даже без гирь: взяла бы разные камни, магазин бы открыла, изображала бы продавщицу, часами.

Леонтина притворяется, что ни о каких весах знать не знает. Не играть же с Анной в магазин.

Анна уже не вслух, а себе самой рассказывает, что довольно хорошо себя помнит лет с восьми. Кажется: не там ли самое начало бытия? Может быть, и не ее, а ее, например, прабабушки. С восьми лет, с кругосветного морского путешествия, кто же такое забудет. И я не забываю — как бабушка рассказала. Тем более, добавила, если это путешествие стало вторым рождением: я умирала от воспаления легких; в гнилом Петербурге ничем не могли спасти. Кто-то — мама прабабушки, что ли, — вспоминал: врачи собрались на консилиум, решили, что излечит морское путешествие. Вижу

пристань в Петербурге, слышу тихий плеск воды о борт. Такое путешествие оказалось по средствам, отец — помощник капитана...

— О, здорово! — Которая из них перебила меня этим «здорово»: Майя? Леонтина?

— Ну, — говорю, — я не помню. Может быть, отец и не на этом судне выходил в море, а на какой-нибудь старой посудине, на рыбный промысел, в Финском заливе. А на том судне, во Владивосток, просто знакомый был, например капитан. Зачем во Владивосток? Да так, низачем, прокатиться. Богатые бездельники.

— Почему это — бездельники?

— Ну так обзывались тогда — бездельники и бездельники. Мы там, на этом судне, были гости... А мама сошла с ума. Как не сойти, если в тебе столько разных кровей, истоки и сгустки — в самых разных местах, и в горной местности, и в лесах дремучих, и по берегам морей и океанов...

— Глупости! — Так возражает уж точно Леонтина. — Говорят, напротив: смешение кровей рождает незаурядных, каких-нибудь очень способных людей. Или — очень красивых. У меня тоже так! Кто-то мне сказал, не помню: ты ненормально красивая.

— Да я не знаю, — смутилась Анна, — уже не помню, мама это была или... Нет, наверное, мама мамы, или даже — бабушка мамы. Только вижу я, по чьим-то рассказам представляю встрепанную женщину, и с ножом! Прячусь — не я, а та, кто рассказывает, — под кровать... — Тут Анна сама себя обрывает: — Когда-нибудь я расскажу свою жизнь. Тяжелую, но прекрасную... Бухта во Владивостоке...

* * *

Кто сказал, что смерти нет? Кто-то сказал.

* * *

— Пойдем, я покажу тебе, что мы делаем. Вот, смотри! *Египетские пирамиды!* Майя хохочет:

— Валька, Валечка, сам ты — *египетская пирамида!*

С ним весело, так было хорошо и весело с этим мальчиком из литовского края. С севера Литвы, он так и говорил: мы живем на севере. Где огромный девственный лес, так его называют иногда, говорят — мистические места.

— Но это, может быть, одно людское воображение. Как ты думаешь, Валя? Основанное на... темноте людской, необразованности. Тут, на границе с вами, похожий лес. Только в самый яркий полдень солнечные лучи пронзают чащу, и тишина становится настороженной. Пугает сильнее чем глухая полночь. Не потому ли, что слух обостряется и оказывается, что ночной лес — не безмолвен; звери выходят на охоту; да и деревья будто бы оживают, листья шепчутся; а ели — торжественно молчат... Но свет, даже полуденный, в лесу — не сравнить же его с пустынным; солнце над пустыней, пески, пески, представляешь?

— Как здесь, — смеется Валентин, — в этом карьере, где копают гравий. И строят заодно *египетские пирамиды!* Разве нет? Ты только посмотри!

— А возьми хоть даже самую крохотную лужайку в лесу — сколько там света в полдень! И вот почему-то как раз за этой лужайкой лес и кажется загадочным.

— В полдень сгущается... эта самая вот... мистика...

— А кроме темноты, — подхватываешь ты, — в основе людского представления о мистике края — вечные драмы. Или это — вторично? Первое — темнота как надежное укрытие от... предположим, случайного свидетеля, очевидца. Смутные, жестокие времена извлекают из людского сообщества индивидов как раз особенных... одаренных... или — с изъяном: в биографии, например, или у них какие-нибудь психические расстройства, физические недостатки... А может быть, достоинства?

Словом, такой индивид почти всегда обуреваем желанием спрятаться. И проходящий мимо в полдень соплеменник, услышав хруст хворостинки, испуганно вздрагивает; потом до конца своего бытия он будет в себе носить страх перед подобным местом — где пришлось вздрогнуть... Я недавно узнала кое-что про это место в лесу, там полно захоронений.

В большом городе, — рассуждает Майя, — подобного чувства не испытаешь. Оно притупляется зажженным электричеством, даже в переулках с разбитыми фонарями, где подвалы, откуда вдруг донесется стон или плач. Да в гулкой ночной тишине и шепот листьев может вызвать тревогу.

* * *

Странный трепет порождают иногда и старые вещи. В особенности, если они — будто бы на грани прошлого и сегодняшнего. Еще знакомы тебе. Были, может быть, знакомы в детстве и раннем отрочестве.

В то время ты была бы счастлива получить этот предмет, — думает Анна. — Те же весы. К тебе бы шли «покупатели» — за каким-нибудь клочком материи, пустой катушкой, надбитой чашкой, яркими черепками от тарелки. Девчонки, да и мальчишки из твоего и соседнего двора. И не могли бы скрыть восхищения и зависти при виде твоей необыкновенной игрушки — настоящие весы! И вот теперь, когда воображаемый в прошлом предмет вызывает у тебя лишь снисходительную улыбку, ты получаешь на проселочной дороге этот царский подарок. Тебе готов его вручить незнакомый мужчина. Пожилой, может быть, даже старый. Что-то тебе рассказывает — про весы, но ты не очень слушаешь: ты его разглядываешь. Вдруг замечаешь знакомые черты, сходство с кем-то, но не вспомнить с кем. Красивый, — говоришь себе, — да и не такой уж старый: моложе тебя. Волосы темные, еще не седые, правильный нос. Симпатичное лицо. Кажется четырехугольным... нет, не совсем. Да неважно: такой формы лицо все равно выражает добродушие. В нем видится что-то наивно-искреннее, а главное — совершенно исключаящее жестокость. Мужчина говорит о весах, но ты долго не понимаешь, при чем тут весы, откуда они и какое к тебе имеют отношение. Этот человек их предлагает тебе — взять и сохранить как реликвию. Свидетельство уходящей жизни.

— Я забрал на складе, они там, и мама тоже, хотели выбросить, а я подумал...

Исторически мыслит, — хмыкаешь ты, однако вслух подхватываешь мысль, что — да, сию минуту никому не нужны, а вот пройдут годы — и они воскресят исчезнувшее время. Произнося эти слова, ты неожиданно для себя вспоминаешь: это же — сын Леонтины! Точно, весы стояли у нее на складе, где она работала кладовщицей. На колхозном складе были разные предметы: инструменты, лопаты, грабли, мешки с гвоздями, с крупой и мукой, комбикормом. Крупы и прочее из мешков, кроме гвоздей, Леонтина выдавала на трудодни. За остальное люди платили рублями. Помнится, даже мед завозили иногда, и Леонтина взвешивала его на этих самых весах. И гвозди — тоже... И все еще была красавицей, даже в сером халате кладовщицы. Сама же и бухгалтерией занималась; главное, говорила, чтобы цифры сошлись — и вдоль и поперек. Тут ей помогал какой-нибудь грамотей из припозднившихся посетителей. В последнее время, год или два, этим грамотеем часто бывал Дмитро. Леонтина была уже зрелой женщиной. Но, рассуждаешь ты, к ее типу красоты зрелость даже больше подходит, эта зрелость будто бы выделяет нежный овал лица, подчеркивает углубления под верхними скулами. Правда, бесенята в глазах уже не резвятся так дерзко. Но глаза-то у нее опущены — на листы конторской книги.

* * *

В селении никто не оспаривает красоты Леонтины. Хотя она сама чем старше, тем больше старается быть справедливой, начинает допускать, что и ты, Анна, красива по-своему.

В другом роде, — убеждает Леонтина — себя или кого-нибудь из жителей селения. — Неважно, что Анна-то для меня — пока еще зыбкий образ, который двоится, троится; то мелькнет за тюлем занавески, то — где-нибудь на проселочной дороге в смутный сумеречный предвечерний час. Или — в утреннем тумане.

Здесь, — рассуждает про себя Анна, — у южной границы, много красивых женщин. Не потому ли, что кровь перемешалась? Как языки.

— Про Вавилонскую башню слыхали? — случается, спрашивает полущутя Леонтина у кого-нибудь из посетителей склада. — Там наверняка после смешения языков речь стала не только непонятной, порой загадочной, — но и богатой!

А ты смеешься в ответ, — вспоминает Анна.

— И тебе смешно? Спорить будешь? Разве не возникло там большое словесное многообразие, выбирай, как алмазы! Точно так же и женщины у нас. И не то что красивые, а вот это: непонятные; тем и пленяют.

Вот и ты полукровка, — шепчет Анна, про себя, не вслух. — Ты, может, гуцулка, вроде той самой Ксени. Про твоего отца я и не знаю, откуда он родом, а мать, сама говоришь, у самой границы родилась. А там — и евреи, и поляки, и белорусы... кого только нет.

— Леонтина, — повторяешь ты свою догадку, разглядывая лицо мужчины, встретившегося на большаке.

Точно: старший сын, от Петера еще. Про среднего не знаю, а вот дочкин отец — Дмитро. У Леонтины волосы тоже темные, почти черные, и брови — дугой. В глазах — чего только нет! Кто видел, кто без зависти вспоминает молодой Леонтину, скажет: главное, что у нее в глазах — это шальное веселье. Рассудком этого ни понять, ни объяснить... Казалось бы, ведь Леонтина с ранней юности у соседей батрачит. Не знает ни отдыха, ни срока, света белого не видит! Но кто так скажет, тот ошибется, введет в заблуждение кого угодно из тех, кто станет слушать вашу с ней болтовню. Откуда веселью взяться? А вот оттуда... от солнечного света! Еще как видит белый свет Леонтина! Ранним утром, выгоняя коров на пастбище. В этот час у дома, под тенью лип и кленов, — и мрак, и холод, даже в середине июля. Вздвогнув, Леонтина хватается хворостину, замахивается — чтобы шли коровы побыстрее на свет; там другой мир. Остановится Леонтина, стоит как вкопанная. Руку поднимет, приложит козырьком над глазами, смотрит в небо. Не наглядится.

— Работали много, — рассказывает Анне Леонтина, — это верно. И сами хозяева — мне просто соседи, уж какие там хозяева — тоже надрывались на поле, у них и батраков больше не было, только я. Нанять-то можно бы, а платить? Кормить?

Мы не знаем прошлого, — говорит себе Анна. — Или нет, вот так: что-то в нем известно, а что-то — нет. И это неизвестное завораживает. Кажется, оно пленительнее, чем вся теперешняя жизнь, полная скуки.

* * *

Никакая она не ведьма, не на метле прилетает, а приезжает на рейсовом автобусе. Здешние места чем-то притягивают Анну, хотя родни тут никакой не осталось, и... *пятишородные* уходили, и все постепенно ушли. В том числе хозяева древнего дома, где она живет в летние месяцы. Несколько лет подряд, — вспоминает Анна, — пока Майя еще маленькая, нас привозит «Волга». За рулем почти такой же пожилой, по человеческой мерке, водитель, как его старая ухоженная «Волга». Зная, что в багажник «Волги» можно, по словам водителя, затолкать хоть самого черта, ты собираешься в дорогу сутки напролет. Мало ли что там может понадобиться. В твоей комнате — невообразимый хаос. Вот мыло; не забыть лекарства; зубной порошок,

мочалка перемешались с бельем; из шкафа готовы прыгнуть тебе в руки платья, кофты; из заветной папки выглядывает Евангелие, его — на самое дно сумки, обложка прочная, с металлической застежкой, буквы — золотым тиснением; туда же, к Евангелию, томик стихотворений, футляр, где золотые запонки, полудрагоценные камни: лунный и «кошачий глаз»; перламутровые брошь и пуговицы — все, что осталось от голодного времени, после того как ушло то, что брали в обмен хотя бы на кусок хлеба или несколько картофелин. За «кошачий глаз» и перламутровые пуговицы ничего не давали; лунный камень и золотые запонки ты придержала на черный день. А какой чернее тех-то?

Ночью совсем другое мышление; вот-вот потеряешь рассудок... Майе — одежда, сандалики, ботинки, Майя едет пожить с тобой в этом древнем доме, его покойные хозяева и ей какая-то *пятигородная* родня. Русалочка, думаешь ты про девочку, теперь — почти уже взрослую девушку. У заводи, — слышится тебе в ночной тишине голосок Майи, — там изумрудные лягушки! Нигде, никогда таких не видала. И синие стрекозы, одна блеснет вдруг золотом — и сразу улетает, не дав разглядеть, где у нее золотая краска. Или это — отблеск солнца? ...Нет, не крылья, наверное, *ось*, где брюшко у стрекозы. Посмотри, посмотри, вон, села на полевицу, ты постарайся разглядеть досконально; какая красота! Скажи, из чего она сделана, это очень важно...

Валентин с три короба наболтал про свои *пирамиды египетские*.

— Ай, да ну, — отмахивается Майя. Но не может не согласиться, что эти холмы из плотного песка и правда похожи издали на пирамиды — в кино или на картинке. — Но мы же, ни ты, ни я, настоящих не видели — тех, что там, в Египте. А вот стрекозы над заводью — настоящие!

— Ты забываешь добавить «как», — смеется Валентин, — *как* настоящие. — Тоже, — говорит, — какие-то мистические.

— Будто бы во сне. Все замерло, только воздух трепещет, словно там пробежали какие-то волны, как рябь на воде. И смотри, бабочки, тоже необычайно яркие; в других местах они бледно-желтые, *капустницы*, а здесь красно-черно-коричневые, а то — синие, в черную полоску. Им так мало отпущено времени, как подумаю об этом, делается грустно: уж очень скоро умирает красота... Знаешь, я даже стишок стала сочинять в момент печали, послушай:

...при новой встрече тот же
огонь горит, который
мы вместе зажигаем.

Мир пылет... — Это тебе, Валя! Дальше пока не сочинилось...

— В молодости все сочиняют стихи.

* * *

Валентин — строитель. Архитектор. Сам сказал, — вспоминает Майя, — когда я спросила про специальность. Но, говорит, места архитектора в нашем городке на Севере Литвы, понятно, не нашлось. Проектов начинающему тоже не предлагают. Вот я и приехал сюда к вам, по объявлению. Строить... *египетские пирамиды*.

— Вот как! — восклицаешь ты. Леонтина, думаешь про себя, сто лет назад пророчила: в земле, говорит, возле вашего дома есть полезные ископаемые... Нефть? — загораются глаза Майи. — Сразу тебе нефть! Там видно будет, что обнаружат, когда всё округ станут рыть.

Вот и разрыли, — вздыхаешь ты, конечно же вообразившая себе какой-нибудь клад. Взяла лопату, отправилась на раскопки, рыла-рыла — ничего подобного, только песок да гравий. Зато годы спустя, когда начинается строительный бум, нашла Валентина! Разве не клад? Но где же он? Анна говорит, что первая любовь — всегда несчастная. Это почему же?! — негодует Леонтина.

Твои одноклассники, — вспоминает детство Майя, — да и девочки в танцевальном кружке, с нетерпением ждут весны, лета. А ты — не ждешь, потому что знаешь: как школа кончится, родители тебя сплавят на хутор, с тетей Анной. Да какая она мне

тетя, — мысленно отвечаешь ты маме, которая отчаянно и фальшиво расписывает прелести деревенской жизни. — Да какая она мне тетя? Десятая вода на киселе. — Но все же ты хочешь быть справедливой: Анна, — рассказываешь себе, — к тебе относится вполне хорошо. Если и сделает замечание, то тебе же на пользу, чтобы ты росла хорошо воспитанной. На дерево не лезь, девочке не пристало, далеко от дома не уходи. Другие уходят! — очень хочется затеять с Анной дискуссию про других, которым все разрешается, сказать Анне что-нибудь противное; да надо сдерживаться, а то в очередной раз услышишь — прикуси язык! Между тем соседская Машка, или как ее там, часами шляется по деревне. Ей можно?

— А тебе нельзя! Маше все здесь известно, потому что она здешняя.

А эта вторая ведьма, Леонтина, пока ты еще тут, подпевает Анне, а чуть отойди — так сразу зашепчет: да не держи ты ее на привязи, как какую-нибудь козу! Думаешь, ты не слышишь. Анна еще и посмеивается: так она и есть коза!

Зато в другой раз Леонтина болтает о каких-то любопытных вещах, ты начинаешь прислушиваться. Живя на свете уже почти сто лет, — говорит она, — я знаю по опыту, что мне подвластны перемещения. — Какие такие перемещения? — думаешь ты и никуда не идешь, делаешь вид, что поглощена игрой в куклы, будто бы укладываешь их спать, потом кормишь завтраком. Из одного мира в другой, — слышится голос Леонтины, — только надо себя настроить, — говорит, — как, например, настраивается оркестр перед концертом. Анна соглашается, тоже, наверно, знает про такое, только оговаривается, что вблизи природы перемещения происходят скорее и легче, чем в городе, где достижения цивилизации, как ни странно, крепче вяжут к земному миру. Ну ведьмы, — думаешь ты, — настоящие ведьмы. — Казалось бы, — продолжает Анна, — этому удерживанию — что помогает там? Конструкции зданий, мостов, построек? Что в них земного? Даже на взгляд — холодные, как лед.

В твоём воображении, пока спят куклы, возникает какая-то старуха. Должно быть, это твоя покойная прабабушка, — гадаешь ты. — Идет по улице Вайрога, в переводе — улица Щита. Что за *Щит*, что и от кого защищать? И отчего при этом слове воспламеняются почерневшие угли? Делается понятно, что направление в передвижении старухи поворачивается в обратную сторону и что эта — самая обыкновенная старая женщина — вдруг взлетает, да поможет ей огонь, раздутый из почерневших углей. Старухе жарко, ее возникновение из прапамяти происходит в летний полдень, и этот полдень загадочнее и, пожалуй, еще и пострашнее полуночи. Старуха переходит дорогу, на теневую сторону. Замедляет шаги, любясь сугробами цветущей черемухи, замирает, переживая бесконечное прохождение здесь, где из-за угла вот-вот выбегут дети, завопят: «Ба-а-бу-ушка!» Хитрые, думает старуха, ждут, что несущим им пряники.

Но это — уже другая улица, под названием Курмью — Кротовая. Кротовый ход тихий, улица будто бы мгновенно засыпает, едва свернув с шумной магистрали. Кротовая как две капли воды похожа на улицу Щита. Сюда, как по волшебству, перенеслись с улицы Щита в новый слой времени цветущая сирень, одноэтажные домишки, где под окнами цветут пионы, анютины глазки, бессмертники и незабудки. То ли радость охватывает вечную старуху, то ли томление, необъяснимое беспокойство, связанное с воспоминанием об утраченной любви. Он явился, потому что хочет забрать ее к себе, чтобы ни одна подробность ее существования не ускользнула незамеченной.

Было ли так, ты не знаешь, — говоришь ты себе, — или ему только показалось, что любимая, сберегая детей от голода, тает сама, скоро совсем истает и сделается тенью; и он крепко прижимает ее к себе, будто бы решительно заявляя: не отдам! Я ему померещилась исчезающей, — думает старуха, — ну, не дурной ли? Я же не Снегурочка, чтобы растаять на солнце; а если уж пропадет и солнце, то потеряемся во тьме и ты, и я.

Да и вообще, — говорит себе Майя, — в любом случае... ведь и я исчезну в ежесекундно исчезающем времени. Ты все это знаешь, — шепчет Валентину, — в чем

же дело? Где ты? Не можешь простить мои упреки, пусть и безмолвные, только в глазах, все еще слышишь слова мои: так мало, ну, еще завтра ты меня встретишь у обрыва, на фоне *египетских пирамид*. Ну, хорошо: еще послезавтра...

Старуха смеется. Может быть, надо мной, — думаешь ты. — Или — над ним? Над жарким его желанием забрать эту женщину к себе. Желанием, к которому, несомненно, примешивается страх потерять ее — ведь война, революции поглощают людей без разбора. Этим же страхом объясняется готовность утопить в волнах нежности настороженную ревность, сожаление неизвестно о чем, еще какие-то чувства, в конечном счете приводящие — к жестокости. Или это — смех над собой; горький, потому что вместо старухи принимает решение судьба в образе германской мины. В этот же вечер он, вместе с катером, подорвался на этой мине.

Хочешь погрузиться в прошлое? — спрашиваешь ты себя. — Но много ли, хорошо ли ты помнишь прошлое, хотя бы до третьего колена? Там образ деда, смутный и зыбкий; его не сходящая с лица ироническая усмешка. По-видимому, усмешка ему помогает отстраниться. Даже от себя. Чтобы позволить себе слиться с толпой современников.

* * *

...Собирая дорожную сумку, Анна изо всех сил старается как-нибудь уменьшить вес ее, да и объем. Ты и так все теряешь, — убеждает она себя, — тут ночь не спишь перед отъездом, а там... такую прорву вещей все равно не сможешь унести. Что положила, куда, запутаешься — и все забудешь. А уж книги, какой-нибудь толстый роман — да зачем? Любую жизнь можно читать вместо романа, она интереснее любой книжной истории. Ну, та же Леонтина. Нет, ну, конечно, Леонтина — женщина необыкновенная. Теперь про таких принято говорить — *легендарная*. Кто-то рассказывал, не помню. Что правда, что выдумка, кто теперь скажет? Словом, сидят будто бы двое в пивной — или закусочной? — в райцентре. Сперва кажется — вроде бы чужие друг другу люди, вовсе незнакомые. Но после какой-то по счету кружки делаются как родственники. Ясно, что речь ведется уже о женщине: ее *одну*... Другой вторит ему, напевая, — «...лишь одной в целом свете про любовь расскажу». Под конец выясняется, что оба говорят и напевают про Леонтину. Про сплетни, разговоры о ней. И все потому, что уродилась такой красавицей. И сейчас еще судачат — и в сельском магазине, и на автобусной остановке, да где угодно. Но это, пожалуй, не про Леонтину, а про ее внучку, нет, дочку. Между прочим, почти твоя тезка: не то Анния, не то Аннет. Тоже, говорят, такая красавица — лучше не гляди: ослепнешь... Может быть, один из тех двоих, кто много лет назад разговорились в закусочной, — тот самый Дмитро, к которому Леонтина ушла от Петера. Дети выросли, по крайней мере старший, тот, что попался тебе навстречу с древними весами. Надо полагать, — заключает Анна, — что уход Леонтины к Дмитро особого горя детям принести уже не мог. В силу возрастных особенностей: захвачены собственными романами, и горе может принести одно: он/она не любит, я ему/ей даже не нравлюсь. Петер чувствует себя оскорбленным. Но долго ли коротко — обида проходит. Остается одиночество, Петер до самой кончины чувствует себя сиротой. Кто испытал такое на своей шкуре, тому рассказывать не надо. А кто не испытал — все равно не поймет. Говорят, век у человека короткий. Однако встречаются люди, успевающие прожить за этот срок несколько жизней, и тогда век — долгий и длинный.

Леонтина возвращается к Петеру незадолго до его ухода. Живет дальше в опустевшем гнезде: дети тоже разлетелись. Ушел в мир иной Дмитро, стала туда собираться и Леонтина. Но собирается уже так долго, что успела забыть куда и зачем. Вот и живет в холодном гнезде, которое немного помогает ей согреть старший сын, тот, с весами, вернувшийся после извилил и перипетий своих других жизней. Дом их — почти у самого большака, и Леонтина любит выйти к дороге, поздороваться с каждым, кто бы ни шел мимо...

Утомленная сборами в селение, Анна присаживается возле сумок, старается

напомнить себе известные ей события последних лет. Говорит про Леонтину: «Она живет так долго, что нет в селении ни одного человека, кого бы она не знала не только в лицо, но и всей его судьбы, всей подноготной». О тебе — в том числе; ты ей — старуха с соседнего хутора, та самая, что прилетает вначале на метле, но потом приезжает обычным способом — на «Волге» или на двух рейсовых автобусах, с пересадкой. Энергия ведьмы, растворившись в полетах, исчезла. А она, эта Леонтина, поглядывает на тебя ревниво, но уже — как на ровню, ну, почти себе равную. Хотя в *легендарном*, так сказать, *«лишь одной в целом свете»* этой *«одной»* была и остается она, Леонтина! Потому что и теперь, по мнению односельчан, когда она так скучно и одиноко живет и даже с сыном почти не разговаривает, а из дому выходит затем только, чтобы сказать прохожему «здравствуй», Леонтина по-прежнему одарена необычайной красотой. Вот ведьма! — смеешься ты. — В чем ее секрет, никто не знает. Одна из тех, кому говорится «здравствуй», однажды расхрабрилась да и спрашивает напрямик: «Как это тебе удастся»? Леонтина пожимает плечами: вопрос неожиданный. Да разве? — говорит. — Да я и не знаю, специально — никак. Женщина, лет на двадцать моложе, не верит, тихо бормочет: вот ведьма, — надеясь, что не услышит. Зря надеется, — хихикаешь ты, — потому что у Леонтины не только зрение, но и слух не хуже, чем были в молодости...

— А что она взвешивает на этих весах? — вспоминаешь ты встречу с сыном Леонтины, ты ведь тогда не удержалась, сразу спросила.

— Гвозди, муку, комбикорм, — перечисляет сын Леонтины, но ты его перебиваешь:

— Это понятно, что же еще, пока колхоз и трудодни... Но позднее-то? Когда гвозди и комбикорм каждый сам себе достает где придется?

— Судьбы, — усмехается тот, — радость, годы, горе...

— Да ладно тебе! Ну, хорошо, давай сюда свои весы, так и быть, сохрани.

...Живя с тобой на хуторе, Майя ни в чем не знает отказа. И прежде не знала, но теперь — особенно, когда у тебя на глазах разворачивается ее роман с Валентином, и ты пристально следишь за его развитием.

* * *

Так вот все тут и происходит, и длится. Может быть, двадцать лет, может, тридцать. Обеим ведьмам — прилетающей на метле из города Анне и порхающей только над селением Леонтине — тоже кажется, что время остановилось в определенной точке. Хотя обе отлично знают, что на самом деле оно летит, как и они, на метле. Они теперь — почти старухи. Почти — потому что к ним трудно отнести это звание, так как ведьмы — вне возрастных категорий.

Да, — вспоминает Анна, — однако, глаза-то у нас с Леонтиной погасшие. Посмотри на Майю, сравни. Когда ее родители, связавшись со мной, получили мое согласие взять с собой в деревню девочку, Майе было восемь лет. Она вовсе не желала сюда ехать. Прекрасно понимала, что мама с папой хотят ее сплавить, а сами пожить в свое удовольствие: каждый день дорогие конфеты — так считала Майя. Лишь со временем, подрастая, начала осознать: а что им делать, куда ее девать, пока сами с утра до вечера на работе?

«Поживешь на свежем воздухе, — Анна уверена, что именно так Майя мысленно передразнивает маму, — тетя Анна сводит на речку...» На слове «речка» мама наверхника прикусывает язык, речку-то, речку приплетать зачем?!

— И вот вам, — рассуждает Анна, — не прошло и десяти лет — и такая перемена: Майя мчится сюда и между каникулами, не спрашивает даже, тут ли я-то.

* * *

— Не могу смотреть! — вскрикивает Майя.

— Не понимаю, что с ней, — говорит себе Анна, — и взгляд какой-то... не то затравленный, не то отчаянный; а что такого я сказала-то?

— ...на эти *пирамиды. Египетские*, — едва слышно заканчивает Майя.

Не знаешь, как подступиться к ней, — думает Анна и на всякий случай соглашается:

— Да, раскатали — разъездили дорогу эти их поганые драндулеты, *постмодерн*, бредешь по щиколотку в песке, ф-фу!

— Да я совсем не об этом...

Пыталась Майя и сходить туда, надеясь, что Валентин, может быть, работает там... но сделалось так невыносимо больно. Как я, — говорит она себе, — прошлым летом хохотала, только начни Валя: *египетские*... а сейчас — ком в горле. Почему, почему он сгинул? Что с ним? Ясно, что здесь его нет, а то бы позвонил, пришел бы к Анне, дорогу знает... Да звонила я! Женский голос бормочет что-то про зону; он — что, арестант? Мобильник отобрали?

Ты уезжаешь в город, — разговаривает Майя сама с собой, — но и там не находишь себе места, как волк в клетке, мечешься из угла в угол; хорошо, родители уехали в отпуск... Что мне делать? Опять туда? Смотреть на Анну, на ее кисло-сладкую мину... ой, ну что ты, перестань! Анна-то чем провинилась? Как это они обе с Леонтиной пели? «...*па-лю-бил дру-гую ми-лай*...», — да как расхохочутся...

* * *

Но время уходит, что угодно говорите, но время как раз остается; случись вернуться на то место, сразу ощутишь, как отдается в шагах прежний ритм.

Так что ты знаешь, — шепчет себе Майя, — не хуже Анны с Леонтиной знаешь, как переживается любовь. Вот так и переживается: в ритме, приближающем к *пирамидам*, ты ясно ощущаешь те минуты — точно так же, как тогда, прогуливаясь вдоль карьера в ожидании, пока освободится Валентин, поглядываешь в сторону этих *агрегатов-постмодерн* в этой пропасти, в которую превращается карьер. Если не закроет картинку серовато-тяжелое облако пыли от очередного *драндулета*.

* * *

Для Леонтины Анна долго остается странной будто бы птицей, прилетающей сюда на гнездовье. Залетной птахой? Ну нет: «залетная» — это слово отдает... чем-то пренебрежительным, даже презрением. Но ничего подобного у меня нет к Анне, — думает Леонтина.

— Леонтина?

— Что, милая?

Услышь это мое «милая», — рассуждает про себя Леонтина, — Анна бы фыркнула.

— А скажи, — продолжает Майя, — ты ведь, наверно, знаешь: у нашей Анны была любовь?

— Была.

— Ну, и где теперь?

— Жених Анны, деточка, погиб в автокатастрофе в день свадьбы.

— Ох! Я так и знала, что тут какая-то трагедия!

— Только чур — молчок, ротик на замке!

— Само собой...

* * *

Сколько же это лет мы с ней знакомы? — старается сообразить Леонтина, но не может сосчитать, так давно это было. Помнится только, как пришла на соседний хутор, как по пути готовила первые слова, не знала, с чего начать. И тут оно само спросилось:

— Как тебя зовут?

— Анна Александровна.

— У нас отчество не принято, буду звать просто — Анна.

— Да зови как хочешь. — Анна и не собирается оспаривать здешние обычаи, она

любит послушать про жизнь в селении. Прежде всего — самой Леонтины: заметила, что местные жители посматривают на ту... не то с любопытством, не то — с осуждением, а кто-то — восхищенно.

— Мне и в голову не приходило посмотреть на тебя... даже искоса, — с наивной откровенностью уверяет позднее Анна.

— Ты о сплетнях? Думаешь, я хочу сплетни слышать?

— Ну, если не злые, то можно и послушать. О чем еще говорить, если не про наше житье-бытье? Мы же не балаболки.

— Ну, да, — соглашается Леонтина, — конечно, так: поговорить за жизнь, кажется, так это русские называют?

Анна подтверждает, мысленно стараясь оправдать свое любопытство.

Сколько можно, — думает она, — заглядывать в себя? Куда интереснее посмотреть на окружающих, узнать про их семейные отношения, внесемейные романтические истории; любовь проявит больше, чем любые исторические справки. Тем более, что главная любовь Леонтины происходит уже при мне, можно сказать, на моих глазах, ведь стали подругами, у меня и в городе, пожалуй, не найдется никого ближе Леонтины.

— А как же твой муж? — спрашивает Анна. Слово — не воробей, смущайся сколько хочешь, задав такой прямой и откровенный вопрос. — Не любишь?

— Что сказать? Больной человек...

— Ну?

— Я все стараюсь отдать ему. Работаю... ты же видишь, как я работаю; и в полевой бригаде, и у себя на участке. Надо лекарства, и питаться ему надо хорошо, доктор сказал — масло... и все такое... Я что хочу сказать: когда я столько отдала и отдаю ему, то как же не любить?

— Как мать свое дитя любит, да?

— Как брата, — подумав, старается уточнить Леонтина, — так вернее будет... Все равно уйду!

Спустя какое-то время Леонтина и правда уходит к Дмитро.

— Дети выросли, — объясняет Анне, — а Петер... он понимает. Чувствует, что... — Чуть запнувшись, она заключает жестоким все-таки словом: — ...сам не жилец. Конечно, он не мог не думать о моей жестокости. Скажи правду: судишь?

— Жалею.

— Его, что ли?

— Да и его. Но больше — тебя.

— Меня?! — поражается Леонтина. — Так ведь я... счастливая!

«...лишь одной в целом свете...» — это — Анна, уже не вслух.

Вот и Анне ясно, — грустно думает Леонтина, — что мой уход был непростительной жестокостью.

...Не только Леонтина, давно уже все называют *залетную* — Анна, отбросив за ненадобностью «Александровна».

— А я смотрю: дымок подымается из твоей трубы. Не может быть, — думаю, — померещилось!

— Может, и померещилось, — лукаво морщит нос Анна. Кажется забавным представить себе, что и впрямь не только дымок от едва-едва разгоревшейся печки, смешанный со струйкой от раскуренной сигаретки, чудится Леонтине, но и сама Анна, и эта на редкость красивая осень. — Тебе, может, и вся жизнь твоя мерещится, а?

— Может быть, — не спорит Леонтина. — Но я так тебе рада, а то не с кем слова перемолвить. Послушай, а ты детей моих уже видела?

— Ну, одного встретила. Остановил какой-то мужик на дороге: не хотите ли, говорит, взять весы? — А вы кто такой? — Ну, как же, не вспоминаете? А я все помню. Как мы играли тут. И ваша Майя, я всех знал на вашем хуторе, и гостей из города. —

Взвешивать буду? — Как вы сказали? — Про что? — Ну, что взвешивать будете. — Ну, да: судьбы, годы...

Леонтина смеется.

— Он, — говорит, — у меня земной. А дочку мою не видела еще? Теперь про нее все село судачит.

— Ну-ка, ну-ка, что такое? Расскажи! *Теперь*, говоришь?

— Что — теперь?

— Ну, судачат.

— Да! Моя Аннет замуж вышла!

— Нашли диво!

— Но угадай, за кого! За местного миллионера!

— Миллион попутал?

— А кто это может знать? Чужая душа — потемки; а любовь зла: полюбишь и козла.

— Он — козел?

— Козел или осел, не знаю, однако чуть не в два раза старше моей Аннет! Но я-то вижу, по глазам ее вижу, что все не так просто. Наверно, и сама Аннет не знает, какой бес ее попутал. У миллионера в наших краях — дом. Дочка такие дома только в кино да на картинках в книжках видела. Я там побывала. Ничего особенного и нет. Ну, лестница на второй этаж, лакированные светло-коричневые перила. Не умею рассказать, как это все называется, слов таких не знаю. *Модерн*. Или — *постмодерн*. Все вроде бы просто, а видно, что дорого. Ну, и все прочее, может быть, все вместе — очаровало Аннет. Что он такой видный из себя. Красиво ухаживает, не то что тутошние олухи. Могла девчонка и влюбиться, этого ни я, ни даже она сама не знает, где уж прочим судить... А Майя что? Расскажи про Майю.

* * *

Непереносимо. Ритм в шагах. До заводи, дальше — лесной тропинкой, небольшой круг — опять к заводи.

— Идешь и думаешь, — говорит себе Майя, — если Валентин здесь, то давно бы догадался, где тебя искать. А ты все стараешься его оправдать. Фантазируешь — мало ли. Зона какая-то. То ли она есть, то ли нет. Анна говорила: башню построят — будет. Так уже построили. Может быть, там, где Валя, не построили? Или он — арестантом на зоне...

— Видела я, видела Майю, — уже не слушая ни про Аннет, ни про миллионера, Анна старается оформить в слова для Леонтины все то, что можно рассказать про их девочку.

Пока не могу сказать, — говорит себе, — потому что не знаю, Майя сама тоже не знает. Но вижу... что вижу, тоже не рассказать, лишь холодные слова столпились, рассуждения. К примеру, про то, что первая любовь, как правило, не сбывается. Да это и не рассуждение, а чистая правда. Но как о ней словами сказать? Чтобы утешить Майю. Одна жестокость получается. Черствость... Заявляет на днях: Анна, говорит, я с тобой туда не поеду. — *Sirdswnotis?* — Как-как? — Ну, который в городе держит, зацепил твое сердце. Очень верное слово — это Леонтина пополняет мой словарный запас, но как бы перевести? Заноза в сердце? Буквально — *сердечный крючочек*. Но по-русски так не говорят. Может быть, *зязноба*, но это, кажется, просторечие.

В глазах Майи блеснул интерес.

— Слава богу, — говорит себе Анна, — а то совсем потухли. Никакие сделались. Мертвые. — В школе, да? Одноклассник? Ты однажды упоминала какого-то.

— Да ну его, олух. К тому же занят.

— Чем? — не сообразила Анна.

— За-нят, понимаешь?

— Ну, освободится. Переэкзаменовка, что ли?

— Какая тебе переэкзаменовка? Ничего ты не понимаешь. Не чем он занят, а — кем. Девчонка у него.

Тут Майя начинает горько плакать.

— Я даже перепугалась, — вспоминает Анна, — а она сквозь всхлипы давай на учительницу жаловаться, по спорту, что ли; будто бы та несправедливо поставила ей четверку, «а четверку нам ставят только за то, что пришел на урок, а я там еще и делала что-то!» — и опять как заревет! Я ее прижимаю к груди, чепуха, — бормочу, — но знаю, что не чепуха: из-за чего-то болит у Майи сердце, однако словами поверхностными оформляю: довели, думаю, девчонку, они в этом возрасте малейшую несправедливость остро переживают. Но я правильно догадалась: не из-за учительницы Майя плачет. Догадалась — где-то в глубине, а на поверхности — растрогалась только: какой еще она ребенок в свои почти семнадцать лет. Ну, говорю, хорошо, не хочешь ехать — оставайся, может быть, потом. Она, вроде, согласилась и ушла. А я опять стала думать: школьный *sirdsenotis*? Вряд ли: она сама сказала — олух.

* * *

— Ну и плевать на сплетников, — утешает Анна Леонтину, возвращаясь к разговору про Аннет и миллионера.

— Да мне-то и плевать, — отвечает Леонтина, — я привыкла, что люди судачат. И не потому, что вредные, а просто так, от скуки. Не обсуждать же, что делается в Сейме, там совсем незнакомые люди, тем более, не разберешься, не поймешь; куда хуже, чем житейские новости на селе. Ну хотя бы и замужество Аннет. Люди запросто делают вывод: польстилась на миллион. Но кто, интересно, решил, что девушка не может влюбиться в миллионера, пусть он в два раза старше? Зато на висках — красивая седина, в глазах — обожание, в руках — цветы... Не всякая устоит, и миллион не помешает.

...Она уже что-то другое рассказывает, — думает Анна, — или тебе только так кажется? Да и вообще, этот разговор — не сейчас, когда-то раньше.

— Дмитро был особенно нежен, так за мной ухаживал!

Ты прислушиваешься, спрашиваешь Леонтину:

— Где?

— В Народном доме. Кажется, был праздник обмолота.

— Ну, раз осень, так что еще? Конечно, праздник урожая.

— А у меня — праздник любви. Дмитро знал, что Петеру стало хуже.

— Ты тогда вернулась к нему?

— Да: Петер нуждался в постоянном уходе. Я и на праздник еле вырвалась.

— Не отпускал?

— Наоборот, говорил — обязательно пойдешь, отвлекись. Жалел меня. Любил, понимаешь? Уверял, что счастлив своей любовью. Ведь и безответная любовь — подарок, его не каждый получает.

— Я знаю, — вздыхаешь ты и заговариваешь опять про Аннет: — Миллионер, хорошо. Но я одного не пойму: откуда миллион?

— И я не понимаю. Урвал как-то, отхватил, но откуда у нас здесь миллион? В нашем, как считается, неперспективном захолустье.

— Да и в столице. Случается, знаешь ли: кому-то вдруг сваливается миллиард. Как с неба падает.

— Пускай их. Но Аннет, моя Аннет... Хотя... а мы-то разве ангелов любим?

— Любовь зла, — бормочешь ты в ответ.

* * *

Горы плотного песка, треугольные, конусоподобные. *Египетские пирамиды*. Вот и меня, — думает Майя, — ожидает погребение в одной из них, в какой-нибудь усыпальнице, как фараона... Ты не едешь туда, — говоришь себе; мало того, еще и спесиво заявляешь Анне, что не поедешь с ней. А она решает, что в городе держит олух,

sirdswnotis, зазноба. Олух-то и правда занят, но это тебе совершенно безразлично, пусть берет себе любая, если годится. И уж реветь из-за него!.. Ну, ты, Анна, вообще... Главное — ритмы в шагах, ты слышишь в них время ваших прогулок с Валентином. Нежаркими вечерами. И не вечерами, а в предвечерние часы, когда кончают работу грузовики и устройства с кранами: *постмодерн*, их теперь и грузовиками-то не зовут — ну, эти *агрегаты*, с ковшами для гравия. Валя очень устал, не имеет сил добрести до заводи, и вы скитаетесь тут, по песчаному краю, по утрамбованной тропинке, как над пропастью. Вокруг — пирамиды, в них ты будешь погребена, да-да: как фараон. Солнце еще не садится, вы с Валею идете по песчаной полосе, потому что она твердая, ноги не вязнут в песке. А иногда вы нарочно ступаете в сухой песок, еще горячий, туда приятно погрузить босые ступни. И постоять несколько мгновений, что-нибудь рассказывать, глядя в глаза друг другу; у Вали, ты хорошо успеваешь за эти мгновения разглядеть, они темно-темно голубые. Потом вы снова идете по твердой полосе над пропастью, тут песок уже совсем остыл, холодит ступни, и по всему телу пробегает током дрожь. На ходу вы не смотрите друг на друга, у вас в глазах — *Египетские пирамиды*. Солнце быстро тонет в углу горизонта.

Все мешается в твоей голове; только ли пирамиды древни? Или — и ваше с Валею время — тоже там, с ними; и вы — такие же древние?..

Что же — поехать туда? Выйти за калитку, и тебе «...лишь одной в целом свете...» откроются *египетские пирамиды*. Ты их видела только в кино.

Увидела бы наяву — наверно, застыла бы в священном ужасе. Ты оказалась бы в странном сновидении, где не отражается реальность, так как обратилась в мистический, призрачный ландшафт.

Это всего лишь холмики, уверяешь ты себя. Ваше с Анной и Леонтиной селение тоже не миновал строительный бум. Здесь — *золотые прииски*, к ним, на запах наживы, устремились местные, а может быть, и дальние *золотоискатели*. Также мне, хмыкаешь ты, нашлись. Ты мстительно готова приписать к этой компании и Валентина — чтобы выкинуть его из своей *зоны*. Может быть, ему уже теперь, как и тебе, отвечают в телефоне: абонент вне зоны. И вдруг звонит Анна! Это не может быть сном — телефон тебе передает мама, а что, то есть кто может быть реальнее на белом свете? Не снятся и слова мамы: «Это Анна. Хочет сказать тебе что-то важное». Анна зовет приехать. Зачем? — Не по телефону. Ты, понятно, срываешься с места — и в тот же вечер прилетаешь к Анне. На метле? Как когда-то летали они с Леонтиной? Нет: разве ты ведьма? Разве способна ведьма любить? Ведьме — все игра, в том числе и полеты на шабаш по приглашению черта. Ты, скорее, птица; прилетев, опускаешься в сад; Анна тащит тебя в дом, усаживает за стол, сперва накормить. Разговоры, говорит, за чаем. Дрожа от нетерпения, ты почти сразу требуешь чай. — Тебя тут спрашивал какой-то. — Сердце твое кувыркнулось, падает, падает, останавливается, нечем дышать, ты шевелишь губами, Анна молчит.

— Ты спросила имя?

— Он был удивлен, как это — не приехала?

— Что-нибудь просил передать?

— Скажите, что у меня проект.

Ты резко вскакиваешь, опрокидываешь чай, уносишься к песчаной пропасти, слышишь шум *агрегата* — *кладоискатели* изменили, в связи с жарой, режим работ; пользуются сейчас вечерней прохладой, днем солнце слишком жестокое... Ах, у него проект, вон оно что! Тебе хочется добавить — еще и важничает.

* * *

Все эти истории Анна таит в себе — все, что связано с Майей: и про весы, которые сын Леонтины почему-то решил оставить ей, чтобы потом передала Майе; и про молодого человека, у которого «проект». Само собой, ничего не знают и родители Майи — да и что им знать-то, думает Анна; ну, приходил, ну, спрашивал... А что на Майю кто-то заглядывается, совсем не удивительно. Сын Леонтины, между прочим,

тоже. Еще Майя маленькая была. Но недаром же, — вспоминает Анна, — этот человек с весами, встретившийся ей на дороге, говорил, что у него в памяти сохранились все, кто бывал у нее на хуторе, в том числе и гости из города.

— Время летит, как летит время, — вздыхая, говорит Анна.

Заглохли в селении сплетни об Аннет с миллионером. У них растет дочка, миллионер — известный в округе меценат, поддерживает культуру. О чем тут судачить? — думает Анна. «Все нормально» — так когда-то на вопрос «как дела?» неизменно отвечала Майя.

— А Валентин? — неожиданно спрашивает Леонтина.

— Ты даже имя знаешь?

— Не только! — смеется та. — Время, время...

— При чем тут время?! — сердито восклицает Анна.

— Все излечивает, все уносит, как ведьма на метле. Я видела их — там, у края пропасти.

— Что ты несешь? Какая пропасть?

— Ну да: стояли оба на тропинке, и никаких искр не сыпалось, и никакого в глазах ошеломляющего света.

* * *

Ты сделалась тогда, — вспоминает Майя, — вроде как историком, который исследует судьбы обитателей селения. В центре событий, разумеется, Леонтина и Анна. Тебе на самом деле все это становится интересно. И то, как они называют себя тех времен, когда были молодыми, ведьмами, и что Анна, да и почти все село, считают Леонтину красавицей и еще наделяют ее красоту чуть ли не дьявольскими свойствами, мистической силой. И как потом они обе хохочут над собой. Вспоминая, как негодовала, что и Анну иные тоже считают красавицей, Леонтина захлебывается от смеха.

Задумавшись, ты удивленно говоришь себе: а ведь они тебя излечили! Как же ты этого не поймешь до сих пор? Нет! Ты их и слышать не хотела, все бы тебе сидеть, глядя в одну точку неподвижным взглядом. Не стоит вспоминать все нелепости и недоразумения, ряд совпадений, из-за которых ты так и не встретила тогда с Валентином. Позднее, стоя на фоне *египетских пирамид* над пропастью, он старается оправдаться. И тебе кажется, тебе слышится... фальшь. Чем жарче он говорит, тем ты становишься холоднее. Уже растаяла в тебе обида, не говоря об исчезнувшем нетерпении найти его во что бы то ни стало. Сию минуту...

Твой холод в конце концов передается Валентину, оттого, не желая в этом признаваться, он с таким жаром все объясняет, сиюсь вернуть пережитое — и себе, и тебе.

— Посмотри, какое солнце на закате, — ты говоришь ему, чтобы отвлечь от монолога.

Повернув лицо к закату, он роняет:

— Красиво.

И — умолкает.